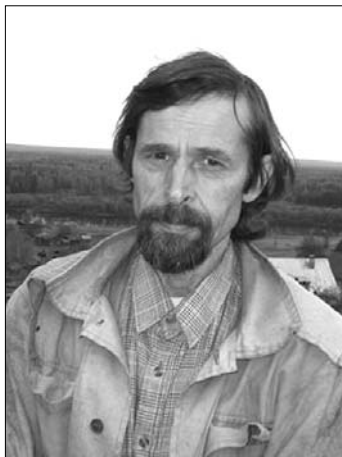


ПЁТР СТОЛПОВСКИЙ



Я ТЕБЯ В ГРОБУ ВИДАЛ

РАССКАЗ

Отец разглядывал меня так, словно прикидывал, сколько за меня дадут в базарный день. Думается, мои прежние трудовые подвиги подсказывали отцу: больше ломаного гроша не отвалят.

— Ну, и куда ж тебя, балбеса, пристроить?

— Да хоть куда-нибудь, — мама голос подала из кухни. — Нечего ему собак гонять, не то снова во что-нибудь вляпается.

Гонять собак мне и самому было совестно, всё ж таки весной пятнадцать лет стукнуло. Нас у отца с матерью пятеро, помогать надо. Правда, не так давно старшие брат с сестрой своими семьями обзавелись, при отце-матери осталось нас трое братьев. Всё равно зазорно дылдой на шее у родителей висеть. Людям-то ещё скудно жилось в послевоенные пятидесятые. Жёлуди, конечно, никто уже в муку не подмешивал, и то хорошо. Но несёт, помнится, баба кулёк серых макарон, от счастья светится, а вслед ей шепоток: по благу-де отхватила, эти, мол, скорохваты не пропадут.

Сидя на старом скрипучем диване, я виновато шмыгал носом и с беспокойством поглядывал на отца: куда пристроит? Не к кайлу ли на стройке? А то ещё в кожевную артель сдаст.

Отец словно мысли мои читал:

— Городишко-то — в полчаса обежать можно, попробуй-ка, пристрой. К кожевникам разве? У них всегда пожалуйста. Пойдёшь кожемякой?

---

*СТОЛПОВСКИЙ Пётр Митрофанович родился в 1943 году в Сибири. Окончил Коми педагогический институт. Работал журналистом, редактором, директором книжного издательства Коми. Автор нескольких книг прозы, в том числе детских. Член Союза писателей СССР с 1982 года. Заслуженный работник культуры Республики Коми. Живёт в Сыктывкаре.*

— Уж прям — кожемякой! — вступилась мама. — Мал ещё кожемякой ломить. Да и вонища там, ни в какой бане не отмоешься.

— Куда ж его, такого расхорошего? А то, может, в школу вернёшься?

— Не-е, — мотнул я головой, — работать хочу.

— Митрош, а в столярную артель? Там каждый год учеников набирают. Сходи, поговори с директором.

Отец снова посмотрел на меня:

— В столяра пойдёшь?

— Пойду.

— Пойдёт он... Возьмут ли ещё.

— Митрош, а ты нынче и сходи. Тебя, поди, уважают.

На другой день пришёл отец на обед и с порога:

— Ну, друг ситный, повезло тебе.

— Берут? — мама обрадовалась. — Учеником?

— Да уж не мастером. Гляди, Петька, не подведи, как с винзаводом своим.

Вот так я и прибился к столярному ремеслу.

Столярная артель носила красивое, прямо сказать, лучезарное имя — “Рассвет”. И оно, это светлое имя, противилось, как мне казалось, тому, что мастерела артель. А мастерела она просторные крестьянские сундуки для деревенского населения и гробы на любой рост. Ещё, выгадав часок-другой, столяры строгажи из отходов мелочовку — табуретки, рамки для семейных фото — три десятка в одну раму — и багеты для всякого рода оконных гардин.

Сундуки, сказать надо, добротные делали, на раскосых шипах. В точности, как в стародедовские времена. Красили эту потребную мебель жизнерадостной охрой на керосине. Покуда краска не высохла, на бока и крышку сундука резиновой гребёнкой наводили лихие зигзаги и всякие загогулины. Получалось что-то вроде сосновой текстуры. Закрасили дерево, дерево и нарисовали, только поплоче.

Спрос на сундуки в то давнее время был бешеный — ещё охра не просохла, уже из рук рвут. Немалый спрос был и на гробы. Куда ж без них, коль матерью-природой велено: поживший умереть обязан. И всегда так будет, если учёные сдуру не придумают вечную жизнь в брэнном теле. Так что гробы делать — не переделывать.

Расположилась артель удобнее некуда. С одной стороны — просторная базарная площадь с прилавками, лотками и хлипкими ларьками. По воскресеньям, особенно в осеннюю пору, окрестные колхозы везли сюда на продажу всё, что родит щедрое Черноземье, и народу бывало — не протолкнуться.

С другой стороны — крутой обрыв, под которым томно выгибалась облакская солнцем речка Тихая Сосна. С обрыва далеко видать. За речкой, за широченным камышовым раздольем просторно разлеглись зелёные поля. Меж ними перелески, лесополосы, а у самого горизонта — железная дорога в сторону Курска. Только “железку” отсюда не видать, разве что тихим вечером паровозный гудок донесётся.

Закрепили меня учеником за столяром середовых лет Антоном. Спокойный и деловитый, но уж больно скуп на слова.

— Примечай, как я делаю. Делай так же, будешь столяром, а не каким-нибудь шалай-валяй.

Так ли я делаю, не так, Антона не больно заботило. Да я и не каждый день мастера своего видел — его часто посылали куда-то старую мебель чинить. Стало понятно: сам не научусь, не видать мне столярного разряда как своих раскидистых ушей.

Но мне повезло: рядом был верстак глухонемого столяра Фёдора. Он нет-нет да покажет, как шип поточнее да аккуратнее вышпилить, долотом паз выдолбить чисто и всякое другое. Не языком — руками объяснял. Со стороны глянуть — суровый дядя этот долговязый глухонемой, брови застрехами. А приглядеться — так он, нулыба, душой-то мякушка.

Слава школьным урокам труда полувекковой давности! Низкий поклон терпеливому, умному трудовику, имя которого, к стыду своему, позабыл. У него не было педагогического образования. Думается, и средним не обзавёлся. Учил

он нас, пятиклассников, не по мудрёным методикам, а по своему рабоче-крестьянскому разумению. И забота его была не о том, чтобы урок прошёл, а чтобы мы, желторотые, знали и умели что-то. Потому он и учитель.

— Что за человек, который не умеет, а? — возмущённо спрашивал он нас, не требуя ответа. — У него ж руки от задницы растут!

Мы хохотали, аж повизгивали, а трудовик, не смахнув с лица возмущения, мудро заключал:

— Такими руками даже размахивать неудобно, вот он ничего и не умеет.

Никто не хотел, чтобы руки у него росли из непотребного места. Старались все. Инструменты были нарасхват, за место у верстака чуть не дрались.

Помню, как под неназойливой опекой трудовика смастерил я своё первое кривоватое чудо — детскую скамеечку. Учитель придирчиво осмотрел её со всех сторон, опробовал на устойчивость — не выхляется.

— Тэ-эк, Мальцев... С руками вроде всё в порядке. Пусть они у тебя покоя не знают.

Сказал, как заколдовал: без дела руки у меня затекают. Но это другой разговор.

На крыльях замысловатой похвалы трудовика я тут же порхнул к верстаку и взялся мастерить взрослую табуретку. С тех самых пор нет для меня на свете лучшего запаха, чем аромат кучерявой сосновой стружки.

Так вот и получилось, что, придя в артель с лучистым названием, я худо-бедно знал, что рубит не рубанок, а топор, стамеска не месит, а режет и прочее.

На второй или третий день мастер Антон, перед тем как снова пропасть до вечера, протянул мне ещё не склеенную рамку. Велел разобрать, разглядеть и сделать подобную. Рамка была на шипах. Такие давно уж не делают, обходятся гвоздями, шурупами да всякими скобками. А зря. Потому зря, что шибко прогрессивные мебельные технологии убили и надёжно похоронили доброе, веками наработанное столярное ремесло, полюбоваться которым можно теперь только в музее. И новое поколение нынче доподлинно знает, что краснодеревщик — это тот, кто красит дерево красным антисептиком, чтобы подольше гниль не брала...

Глухонемой сосед Фёдор работал за своим верстаком и время от времени приглядывался, что там у нового ученика с рамкой получается. Сделал-то я её быстро, но дал маху: в спешке лучковая пила вильнула, и один из четырёх шипов вышел кривоватым. Рамка слегка перекосилась. Попеняв своим рукам, напомним, откуда им расти надлежит, тут же взялся за другую рамку — без спешки, но споро. Фёдор всё поглядывал, но не подходил — пусть-ка, мол, своим умом обходится.

Управился я к самому концу рабочего дня. Только тогда подошёл Фёдор. Осмотрев рамку, сурово глянул на меня из-под застрех и выставил большой палец: молодец. Потом поманил к своему рабочему месту. Достав из-под верстака какую-то чурку, погладил её ладонью. Тут я первый раз услышал его хриплый голос:

— Грыши.

Я пожал плечами: что такое “грыши”? Фёдор досадливо крикнул, взял из-за уха карандаш и написал на чурке: “груша”. А рядом положил рубанок. Я уже знал, что грушевая древесина самая подходящая для этого инструмента. Такие рубанки долго живут, не стираются.

— Понял: новый рубанок будет, — сказал я и выставил большой палец, на что Фёдор довольно рыкнул и хлопнул меня по плечу.

Под конец дня, закончив на первом этаже очередной сундук, пришёл Антон. Повертел в руках мою поделку, приложил к ней угольник — не придерётся.

— Рамка — фигня, — сказал небрежно, — для нас это семечки. Завтра садись на табуретки. Потом посадим на гробы. Сундуки уже за гробами пойдут. Сундуки — это тебе не семечки лузгать.

Рамку, сделанную без спешки, я принёс домой и подарил маме.

— Сам? — обрадовалась она.

— А то не сам. Завтра буду сидеть на табуретке. Потом на гробу. А с гроба на сундук пересяду.

— Ты это что мелешь? На гробу-то на кой сидеть?

— А чтобы разряд дали, мастер так сказал.

— Ну, ежели мастер... Мастера будешь слушаться, он тебя всему научит.

Нас, учеников-подмастерьев, было трое. Витю с Митей взяли на месяц раньше меня. Но никого не спешили сажать на гробы. Так вышло, что всем троим особо-то и некогда учиться ремеслу. Только возмёмшись за рубанок, начальник артели идёт. Худощавый, расторопный, что на ногу, что на язык скор.

— Так, подрастающее по колено, кончай стружку гнать, дерево мучить! — частит скороговоркой. — Со станции пиловочник привезли, ёлки-моталки, разгрузить надо. Скоренько, скоренько, машины держать. А? Трое, трое, все! Веселее будет. Где там хулиганьё — Митька с Витькой? Хватай их за зябры, и вперёд, ёлки-моталки! Верхонки Зина принесёт.

Прострочил словами и ускакал. Дельный начальник, решил я. И ещё подумал: с такими только и можно коммунизм сотворить. А сотворить его позарез надо. Об этом Никита Сергеевич ясно и понятно по радио толкует. Нынче всякий допущенный знает: без коммунизма всем нам будет полный швах. Макароны, к примеру, по благу только и можно будет купить.

Мне уже рассказывали, за что директор называет Митьку с Витькой хулиганьём. Я и сам с ними таким же становился.

Обеденный перерыв наступает — в цехе на втором этаже никого. Обедает мастеровой люд, законный передых. От нечего делать Митька с Витькой глазели в окно на базарную площадь. Там стоят телеги, гружённые мешками, рядом лошадки с торбами на мордах — овёс жуют, головами тяжёлыми трясут, сбруей позванивают. Бабы за деревянными лотками всякой огородной всячиной торгуют, на барахолке торгаша покупателей заывают, товар нахваливают. Базар. Народ вдоль рядов прохаживается, кто покупает, кто интересуется, а кто и балду гоняет.

Митька глазел на всё это, и в его светлую голову впорхнула счастливая мысль. Он хохотнул, взял с верстака большой лист наждачной бумаги, свернул рупором и выставил в форточку.

— Гляди, сейчас они забегают, как муравьи.

Приложил губы к рупору и строгим голосом прокричал:

— Внимание! базарных граждан! Через полчаса базар закрывается! Опоздавшим штраф рупь двадцать!

Люди на базарной площади завертели головами, видать, высматривали, где установлен репродуктор. Кто-то стал громко материть дурное базарное начальство, другие, особенно женщины, послушно потянулись к выходу.

Озорники покатывались со смеху. Просмеявшись, лист наждачки схватил Витька.

— Сейчас я им!..

Состроил серьёзную мордашу, даже нахмурился сурово, приложился к рупору и прокричал:

— Гражданка в кофте! Будьте внимательны! Вам в корзину подложили дохлую кошку!

Иные полоротые бабы в кофтах стали шарить у себя в корзинах, а развесёлые подмастерья хватались за животы, взвизгивали от восторга и тянули каждый на себя рупор.

— Граждане, держитесь за свои карманы! По базару ходит шайка карманников! — сморозил Митька.

Какой-то колхозник тыкал кнутом в сторону артели и говорил что-то другим возникшим. Выцелил-таки репродуктор. Мужики недолго судачили, один из них широко зашагал к артельным воротам.

А шутников уже не остановить. Витька кричал что-то вовсе несуразное, а рупор уже тянул к себе Митька.

— Граж... — успел он вякнуть, как его ухо словно защемили железными клещами.

— Я те покажу карманников, ёлки-моталки! — громче рупора заорал выросший из-под земли начальник артели. — Вы у меня, стервецы, получите дохлую кошку!

— Уи-и! — прощаясь с ухом, закрипел Митька. — Больно!

Клепцы разжались, и хулиганье наперегонки стрекануло из цеха.

— Я ещё потолкую с вами, ёлки-моталки! — громыхало вослед.

Вот так Митька с Витькой стали хулиганьём. А кое-кто из мастеров стал звать их “репродукторами”.

В свободную минуту глухонемой Фёдор брался за свою грушевую чурку, и она в его руках перерождалась в благородный инструмент. По всему видно, мастер душу вкладывал в эту деревину, не спешил, удовольствие как бы растягивал. Всё же кончил работу. Не рубанок получился, а игрушка, сияющая полировкой! Вот она, мастерская выделка! Подходили столяры, разглядывали, хвалили мастера, говорили, что нельзя таким рубанком работать, надо сразу в музей нести. Фёдор стоял просветлённый и растроганный, словно сейчас в его честь грянут фанфары... жаль, что он бы их не услышал.

После он подозвал меня к своему верстаку, положил на него дощечку и провёл по ней новым рубанком. Ш-ш — вежливо прошелестел рубанок, выдав тонюсенькую стружку. Благородных сразу видеть. Фёдор осторожно развернул стружку, наложил её на газету и кивнул мне — глянь-ка, мол. Я наклонился. Буквы видны, читать можно: “...известные всей стране стахановцы установили новый...” Повернулся к мастеру и выставил ему сразу два больших пальца: блеск, закачаться можно!

Митька с Витькой на год старше меня. Одного роста, оба ходят слегка вразвалочку. Даже немного похожи друг на друга, хотя и не родня. Ребята ничему почти не научились за месяц. Но артельные порядки знали.

А жарынь в то лето стояла несусветная. Даже небо выгорело, сделалось белесым. Сигануть бы с обрыва в речку и долго не выныривать!.. Но опять привезли пиловочник, и прибежавший начальник поливает как из пулемёта: “Скоренько, скоренько, подрастающее по колено!..”

В конце просторного артельного двора нас ждали две трёхтонки с досками доверху. И кладовщица Зина с рукавицами. Хохотушка и трусиха эта Зинуля, как звали её столяры.

— Разгружай, складывай, — бубнил по дороге Витька, — потом в сушилку таскай...

— Потом из сушилки вытаскивай, — подзуживал Митька.

— Потом ухи рвать будут, — хихикнул Витька.

— Ребятки, чего вы еле ползёте?

— Зина, ты банку мёда на доски поставь, мы сразу побежим!

— Как-нибудь без мёда управитесь, — усмехнулась Зинуля.

Мы и на другой день, и на третий управлялись без всякого мёда. Тягуче текли, сменяя друг друга, жаркие, душные дни. Обливаясь потом, мы складывали доски в штабель, таскали их в сушилку, а просушенные носили под навес. Да ещё в котельную доставляли древесные отходы.

— Зина, зачем сушилка, когда солнце жарит?

— На солнце пиловочник трескается и выгибается, а в сушилке хорошо сохнет.

Ясно: от сушилки не отвертишься. Одна была нам радость — Зинулин щелястый склад готовой продукции с вечно разинутыми воротами. Мы отды-хали там от жары. Склад стоял над самым речным обрывом, потому в нём приятно сквозило даже без ветра. В обеденный перерыв сидим на свежеструганых гробах, никто нас не дёргает, не понукает — благодать! На гробы сажать нас не спешат, так мы вот сами, не дожидаясь...

— Когда ж, — спрашиваю, — учиться мы будем?

— А когда разряд присвоят, — лениво потягиваясь, говорит Митька.

— Не понял.

— Чего тут понимать? Сейчас нам платят по тридцать рублей ученических?

— Ну.

— А разряд дадут, платить перестанут. Тогда и научимся.

— Здорово придумано.

— А то!

— Молоток кто-то забыл, — кивнул я на крышку одного из гробов.

— Он тут всегда, — говорит Митька. — Гвозди наживляют. Видишь, во всех крышках гвозди наживлены.

— А внутрь стружки кладут, — подсказывает Витька. — Чтоб покойнику мягко было.

— Вон ещё и гвоздодёр, — кивнул Митька.

Гвоздодёр был прислонен к дощатой стене.

Витька хохотнул:

— Покойнику без гвоздодёра — как без рук!

— Ребятки, где вы? — донёсся со двора звонкий голос Зинули.

— Иди спроси, чего ей надо, — кивнул мне Митька.

Выглянул из склада. Хорошо, Зина в другую сторону смотрела, не то заглядывалась бы: гробы, мол, извозите башмаками своими.

— Звала? — подхожу к ней.

— Петя, хорошему человеку надо помочь. Погрузи доски в машину. Ему надо пианино обшить, в Воронеж отправить.

Пианино — это не фунт изюма. Я один только раз его видел. В кино. Всё же поартачился для порядка:

— Обед же, Зина!

Тут подходит хороший человек. Глянул я на него и обомлел: Троепольский! Гавриил Николаевич! Живой писатель! Чистенький такой, аккуратный, на голове — соломенная шляпа. Они с моим отцом вроде как добрые знакомцы, но я до сей поры только издали видел Троепольского. Его не то что в городишке нашем, а по всей стране знают, до дыр зачитывают “Записки агронома”.

— Здравствуйте, молодой человек, — говорит живой писатель так вежливо, что в ответ я только губами пошлёпал. — Вы уж извините, шофёру ждать нельзя. Но вы не беспокойтесь, я вам заплачу.

Я снова зашлёпал, головой замотал:

— Н-не... я так!

Тут и старенькая полуторка подкатила.

— Ну, и ладненько, — говорит Зинуля. — Вон доски, по размеру напилены.

Кинулся я к доскам, штуки три или четыре сгрёб, резво этак на плечо кинул, развернулся...

Шарах!

— Ой! — визгнула Зина.

Оглянулся и обмер: не Зинулю я — живого писателя по его талантливой голове, прости Господи, шандарахнул! Шляпа слетела с Гавриила Николаевича, за ушибленную голову держится, покачивается. Зина рядом страшливыми глазами хлопает, рот ладошкой зажала, чтоб больше не визжать.

От этого ужаса у меня самого в башке загудело. А Гавриил Николаевич шляпу с земли поднимает, хоть и криво, но улыбается.

— Ничего, — говорит, — ничего страшного. Доски целы, и ладно.

Гружу я доски, сам мучаюсь, сказать даже, терзаюсь грехом непростимым: а ну как Троепольский не сможет больше книжки писать! Я ж ему мозги, поди, встряхнул! Писательские мозги — это вам не хухры-мухры! Убивать за это надо. Совковой лопатой... Уж лучше б я Зинулю... нет, самого себя по башке — нашему брату всё одно книжек не писать.

Забегая вперёд, с великим облегчением скажу: пронесло. Через пять лет по рукам стала ходить новая повесть Троепольского “В камышах”. А ещё через восемь лет — потрясающая для того времени повесть “Белый Бим Чёрное ухо”, за что Гавриилу Николаевичу дали Государственную премию. Вот вам и доски...

После обеда направляюсь к своему верстаку и натыкаюсь на Фёдора. Мычит на меня, руками размахивает, лица на нём нет. Ничего не понимаю. Хорошо, Андрей был, мастер мой, стал успокаивать Фёдора.

— Не он взял! — заговорил громко, с расстановкой, чтобы глухонемой по губам понимал. — Не было его, он доски разгружал. — И мне: — Новый рубанок у него свистнули. Случайно не знаешь, кто эта сволочь? — Я обескураженно замотал головой. — А то, может, репродукторы эти, Митька с Витькой?

— Не-е, мы вместе были.

Андрей повернулся к глухонемому, заговорил с расстановкой:

— Не спеши, Федя, найдётся! Хорошо искал? — кивнул на его верстак. Фёдор замычал, закурил руками, показывая, что всё там перевернул.

— Ничего, найдётся! — поворачиваясь уходить, обнадежил мастер.

Поверил Фёдор, нет ли, но временами буравил меня подозрительным взглядом, и я мучился чужой виной. Какая зараза могла украсть у глухонемого? Знать бы, я б его сам, наверно, по башке доской навернул... почище, чем писателя Троепольского.

На другой день мы с Митькой и Витькой выгружали доски из сушилки. Чуть не зажарились там. А в обеденный перерыв снова прятались от жары в продуваемом складе. Отдыхаем, пустопорожными словами перекидываемся.

— Эх, на стружечках бы полежать, — размечтался Митька. — Хорошо покойничкам!

— Полежи, — Витька ему. — Гвоздоёр на месте.

— А что, и полежу.

Митька взял гвоздоёр, раз-раз, и снял крышку гроба, на котором сидел. Внутри стружка. Потрогал рукой:

— Мягкая. Кто хочет?

— Сам боишься?

— Я?! — Митька бухнулся в гроб и засмеялся. — Ребя, тренировка!

Мы с Витькой тоже захотели потренироваться.

Лежим на мягких стружках, обвыкаемся. Витька поворочался в своём гробу, голос подал:

— Слышь, Митя. Тебе надо его на место положить.

— Как я теперь положу? — откликнулся тот со злостью. — Он всё там уже пять раз обыскал!

Я насторожился:

— Это вы про рубанок?

Молчат “репродукторы”.

Вот, оказывается, кого по башке надо навернуть — Митьку!

— Митя, — как можно спокойнее заговорил я. — Он же инвалид. Как ты мог, зараза?

— Тебе-то что? — Он рывком сел в своём гробу. — Ты тут ни при чём, понял?

— Как это ни при чём?! — вскочил и я. — У нас верстаки рядом, он теперь на меня думает! Дать бы тебе!..

— Ну, дай, дай!

Теперь мы все трое сидели на стружках. Уж такие бурливые дела земные — не лежит в гробах...

Я встал и пошёл из сарая. Недалеко отошёл.

— Петя, погоди! — Витька догоняет. — Мы ему в другой раз накостыляем. Ты рядом с глухонемым, давай что-нибудь придумаем — подложить бы надо рубанок.

— Куда подложить? Он и правда всё там обшарил.

— Ну... может, не всё.

А Митька понуро стоял в воротах сарая.

— Вот как он мог, зараза? У инвалида!

— Петя, мы его это... воспитаем. Видишь, стоит, переживает. Говорит, сам не знаю, что меня дёрнуло... Придумай, а?

Во, дела!.. Тут не кочевряжиться надо...

Напряг мозга. Верстак Фёдора. Под ним — сплошная полка с инструментами, заготовками и Бог знает, с чем ещё. Слева от верстака шкафчик, там у мастера самый ценный инструмент... Погоди-ка! Над верстаком ещё одна полка, длинная. На ней незнамо с каких времён пылятся обрезки досок, рейки всякие, ну, заваль, одним словом. Вот если туда, на краешек...

Рассказал Витьке, он обрадовался и махнул Митьке:

— Шлёпай сюда!

Тот подошёл, стараясь не глядеть на меня. Витька растолковал ему, куда можно подложить рубанок.

— Надо так, чтобы не видно было, а чуть шевельнуть, он бы сразу грохнулся. Понял, шпана?

— Понял. Может, это... может, Петька?

— Нет уж! — отрезал я. — Умел тырить, умей и подкладывать.

— Да ладно, ладно, — покорно согласился Митька. — А когда?

— Обед не кончился, дуй за рубанком! — скомандовал Витька.

Митька повернулся и побежал к сараю с гробами.

— Куда это он чесанул?

— Там припрятал, шпанёнок.

Обед подходил к концу. Пора жариться в сушилке. Не успели мы подойти к ней, как прибежал Митька. Довольный, аж глаза бессовестные светятся.

— Всё, ребя, подложил!

— Через год найдёт или как?

— Скажешь тоже! Может, сегодня и найдёт. Рубанок, как на качелях, качается, дунь — и упадёт.

— На голову?

— Не-е, на голову не упадёт.

В Митьке точно талант засел. Ну, тот, за который бьют и плакать не велят.

Под конец дня в сушилке мы сварились всмятку и еле плелись в цех. Не успел я подойти к своему верстаку, как на меня налетел глухонемой. Рот до ушей, трясёт меня за плечи, булькает что-то неразборчиво. Я сделал вид, что ничего не понимаю. Тогда он подтолкнул меня к своему верстаку. А на нём сияет новизной Фёдорова драгоценность — рубанок, сработанный из груши. Хозяин выхватил из-за уха карандаш и начеркал на газетном поле: “Не обижайся! Ребята пошутили”. И снова тряхнул меня за плечи. Жестами и бульканьем старался объяснить мне, непонятливому, как он, собирая табуретку, ударил киянкой — “Бу-у!” — и как с верхней полки сверзился новый рубанок — “Бубу-у!”

Мужики потом долго гадали, кто ж он есть, этот шутник. Не разгадали, рукой махнули, да и забыли. Мы тоже не вспоминали этот казус. Было и прошло, пусть быльём зарастёт.

Жара всё не спадала. На другой день в перерыве мы снова разлеглись по гробам. И на третий тоже.

А вот на третий Витька придумал каверзную потеху. Придвинулся ко мне, шепнул на ухо:

— Шпанёнка этого заколотим?

— Давай! — загорелся я.

Митька лежит в гробу, глаза закрыты. Кемарит, жарой сморило. Мы подкрались, крышку — хоп! И сели на неё.

— Эй-эй, вы что, сдурели? — доносился из гроба глухой Митькин голос.

Посмеиваясь, Витька потюкал молотком по гвоздям — готов жмурик!

“Покойничек” орёт, грохочет, нехорошими словами обзывается, а мы веселимся от души.

Кончился обед. Вызволенный из гробового плена Митька погонял нас маленько, размахивая дрыном, а тут и начальник артели нарисовался.

— Ну, подрастающее по колено, взяли и подняли, ёлки-моталки. Как говорится, эх, ухнем!

Пора надевать брезентовые рукавицы, закладывать в прожорливую сушилку очередную порцию занозистых досок.

А каверза-то в привычку у нас вошла. Нехорошая, думается мне, привычка. Человек благочестивый, поди, чурался бы нас, как отпетых грешников, крестным знаменем бы себя осенял — “свят, свят, свят...”

На другой день мы Витьку заколотили, он тоже поорал для порядка. Выходит, я на очереди.

Два дня не могли меня ребята врасплох застать. На третий день захлопнули-таки надо мной крышку и гвозди заколотили.

Лежу в деревянном плену, думаю: нет уж, не получите удовольствие, не стану ни греметь, ни орать. Никуда не денетесь, кончится перерыв — откупорите.



Ребята стучат по крышке:

— Петька, чего молчишь?

— Может, со страху скапнулся?

Молчу. Витьке с Митькой неинтересно стало, ушли, не слышно их. Пусть, мол, поспит жмурик.

Лежал, лежал я на мягких стружках и правда задремал ненароком. Сквозь дрему слышал: вроде, машина неподалёку заурчала. Дверца хлопнула, шаги чьи-то. А я никак не мог согнать с себя сонный мóрок. Голоса буд-то во сне:

— Какой, хозяйка? — спросил бас.

— А какой на вас смотрит, — Зинулин голос.

— Дай-ка этот смеряю.

Очнулся оттого, что по крышке гроба что-то зашуршало. Да они же мой гроб выбирают!

Сердчишко юрк в пятки!

— Коротковатый бы не взять, — другой голос, хрипловатый. — Покойник-то хорошего роста.

— Саныч, этот аккурат по росту будет. Берём.

— Открывать будете? — Зинуля спросила. — А то вон гвоздодёр.

— На кой открывать? Стружка есть?

— Без стружки не отпускаем.

— Ну, и добро. Саныч, бери за тот край.

И я закачался в гробу. Что делать? Заорать? Постучать?.. Тут такое начнётся!..

— Тяжеловат чего-то, — пыхтит басовитый.

— Ну, не из картонок же делаем, — Зина в ответ.

— Не то из дуба? — крихтит хрипловатый.

— Из сосны.

— А чего ж он... Саныч, свой, свой на борт подымай, твой у́же, полегче будет! Покуда внаклонку оставим.

Мои ноги вознеслись к небу, а макушка тяжело упёрлась в доски. Вверх тормашками поставили, не хотят в кузов задвигать.

— Неси гвоздодёр, хозяйка, — басит покупатель. — Чтой-то он, ей-право...

Изо всех сил упёрся локтями в борта гроба, но тело всё тяжелее давит на мою бедовую башку, вот-вот хребтина треснет. В такой, наверно, скрюченной позиции и положено отправлять в ад оболтусов вроде меня.

Гвоздодёр поскрёб, пролез в щель. Крякнули гвозди. Солнце ударило в скорбное нутро моего гроба. Зина дико, по-кошачьи взвизгнула и сиганула в сторону обрыва. Некрасиво растворив просторные рты, мужики по-рачьи пучили на меня глаза. Покойник неуклюжей кувертой вывалился из гроба, вскочил на ноги и чесанул в другую от Зинули сторону.

Я считал себя вышвырнутым из сундучно-гробового “Рассвета” далеко за базарную площадь. Второй ведь раз шуганут за каких-то два месяца! Теперь бедный мой отец вряд ли станет ломать голову, куда пристроить балбеса. Сгонит, поди, со двора, и вся недолга.

Мебельная же артель остаток того дня не работала. Она хваталась за животы, ржала по-лошадиному и взвизгивала по-поросячьи. Не взвизгивала только Зинуля, которая со страху сиганула с обрыва и подвернула ногу. Не ржал и начальник “Рассвета”, который крепко держал меня за шиворот и кричал в мою правую перепонку:

— Увижу ещё в гробу, ёлки-моталки, все уши пообрываю!

Никто, поди, не захочет такого срама — лежать в гробу с оборванными ушами.

С тех пор у нас с Митькой и Витькой появилась дурацкая шутка вроде приветствия:

— Я тебя в гробу видал!

— Я тебя тоже!

Мы хохотали, а кто это слышал, те крутили пальцем у виска.

Крутили, конечно, те, которые ни разу в жизни не лежали в гробу на мягких стружках, пахнущих ядрёным сосновым бором.